

Иосиф Маневич

ЗА ЭКРАНОМ

Иосиф Маневич За экраном

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084165

За экраном: Новое издательство; М.; 2006

ISBN 5-98379-072-2

Аннотация

Воспоминания известного сценариста, профессора ВГИКа И.М. Маневича (1907–1976) были написаны в начале 1970-х годов и не предназначались для опубликования в тех условиях, когда это неизбежно было бы связано с существенной цензурной правкой. События и герои нескольких десятилетий истории советского кинематографа – это еще не все повествование. Здесь представлен широкий срез жизни российской интеллигенции, для которой внешняя канва существования – войны, эвакуации, угроза репрессий – никогда не заслоняла напряженных духовных поисков и стремления творчески реализовать в своем деле.

Содержание

Предисловие от редактора	4
ВСТУПЛЕНИЕ	7
ПОЯСНЕНИЯ К СЕМЕЙНОМУ АЛЬБОМУ	10
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ	23
СТУПЕНЬ ВТОРАЯ	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Иосиф Михайлович Маневич За экраном

Предисловие от редактора

Публикуемая ныне рукопись воспоминаний и размышлений Иосифа Михайловича Маневича (1907–1976) – мастера сценарного факультета, профессора ВГИКа, сценариста – тридцатилетней давности. Она создана была по сути «в стол», в последние четыре года жизни автора. Уже одно это обстоятельство определяет ее уникальность: при огромном количестве официальных историй и летописей кинематографа практически неизвестны подобные – «сокровенные», написанные для себя и – возможно – для будущих поколений.

Работа над рукописью Иосифом Михайловичем не была окончена: это в основном записанный начерно и надиктованный им текст, как правило, без последующей авторской правки, в котором ряд сюжетных линий представлен лишь в виде замыслов.

Естественно, работа с подобной рукописью специфична: когда невозможно взаимодействие с автором, многократно повышается степень ответственности за принятие тех

или иных решений. И решения эти неизбежно оказываются «неровными», не всегда последовательными: так, например, в окончательный текст не вошли наброски ряда воспоминаний, в том числе о М. Ромме, но вошел очевидно неоконченный очерк о Тарусе, аккумулировавшей в тот период особый культурно-творческий импульс, столь важный и близкий автору. При стилистической разнообразии глав – когда мемуарное повествование перебивается публицистикой, а публицистика сменяется тонкими эмоциональными периодами, которые формально можно назвать «лирическими отступлениями», – отчетливо проглядывает кинематографическая специфика текста: наложение «сценарных» абзацев, смены планов, точек зрения; «лирическое отступление» – это своеобразное прописывание, а абзацный «скачок» – новый кадр, необходимая в кинематографе динамика повествования. Если говорить о множественности замыслов, различимых в тексте этой книги, то следует иметь в виду и замыслы художественные, увиденные сценаристом в сюжетах из собственной жизни.

В мемуарном повествовании Иосифа Маневича, в этюдах и зарисовках, посвященных различным героям, всегда звучит «личная нота». Кого-то в высшей степени заинтересуют его рассказы о Маяковском и Куприне, кого-то – о Пырьеве и Довженко, кого-то – о Бухарине, нам же наиболее дорог образ Валериана Федоровича Переверзева, запечатленный в воспоминаниях его ученика. Для кого слово «университет»

не пустой звук, тот почувствует этот пафос ученичества, эту живую духовную связь, которая не прерывается ни течением времени, ни самою смертью.

Воспоминания о годах студенчества интонационно и стилистически перекликаются с главой о ВГИКе, которую мы бы отметили подзаголовком «заметки мастера», а лучше – «ностальгические заметки». Именно здесь наиболее ощутимо присутствие автора, здесь – сфера наивысшего самовыражения мемуариста, сюда сходится множество линий его жизненного и духовного пути. А сквозь тонкую паутину грусти, иронии и самоиронии, недосказанности читаются надежда на преемственность и экзистенциальный страх забвения.

Книга издана на средства Эдуарда Аркадьевича Штейнберга. В подготовке издания принимала участие Галина Иосифовна Маневич.

ВСТУПЛЕНИЕ

Воспоминания надо писать не торопясь, медленно перебирать пережитое, дегустируя события, людей, облекая прошлое в слова достойные, правдивые и нужные.

Но мысли теснятся в голове, одно воспоминание толкает другое и вызывает новую серию картин ярких или размытых временем. Одни – казалось бы, совсем пустяковые – события просматриваются до мелочей. Другие – очень важные, порой решающие – погрязли где-то в дебрях памяти и мучительно не поддаются восстановлению. И спросить не у кого, и прочесть негде: не записал, не расспросил вовремя, а людей уже нет, лишь в сердце тоска по ним и по невозвратимости пережитого.

Всю жизнь писал я быстро: уроки, чтоб скорей отделаться, статьи в номер диктовал даже на линотип в типографии, заключения на сценарии и фильмы – стенографистке, сценарии – под угрозой отказа в пролонгации, пьесы – к началу сезона, все – к определенному сроку, по договору, на одном дыхании, а потом в изнеможении отдавал и порою совсем не читал написанного.

И вот перо бежит и все не угонится за вспышками памяти, а срок не назначен, и договора нет, и спешить некуда, никто этих записей не ждет. Только сама память почему-то беспокоит – быть может, боится забвения, как смерти.

Написал несколько не связанных друг с другом картин жизни, черты людей в профиль и в фас: моменталки и групповые портреты – как видел, как умел, но, пожалуй, в первый раз без оглядки, не как нужно, а как знал, как понимал, как было.

Пусть эти строки будут «скрепкой» к разрозненным листкам записанных наспех раздумий над прошлым.

* * *

Моя родословная. Какие обзывающие слова. Кому может быть интересна родословная моей скромной персоны? Вместе с тем родословная всю жизнь с тобой: это становится особенно ясно к концу жизни. Все время ты в ее кругу, ты ею определен, ей обязан своими привычками, настроениями, не только в себе, но и в детях своих видишь ее приметные и властные черты.

Часто говорят: «он из хорошей семьи», не менее часто: «в семье не без урода». Это одна и та же мысль, подтвержденная с разных сторон. Мне кажется, именно родословная определяет многое из того, что произошло и что могло произойти.

Когда обращаешься к прошлому, невольно возвращаешься в круг семьи, круг близких тебе людей и постепенно понимаешь, почему именно эти люди шли с тобой, почему ушли из твоей жизни, почему повторялись одни и те же варианты решений в самых различных сферах – личной, обществен-

ной, служебной. И родословная твоих чувств и мыслей корнями уходит в твой род, о котором ты так мало знаешь.

Родословная твоя в геральдических книгах не записана, и знаешь ты ее со слов, а еще понаслышке – по отдельным, случайно брошенным репликам, запавшим тебе в память, по уцелевшим фотографиям, обрывкам писем, осколкам воспоминаний и по тем предметам, которые окружали твоих родных и пережили их. Обрывки родословной, запечатленные в памяти, порой неясные, плывут перед тобой и становятся нужными, чтобы понять себя и объяснить себе.

Истра, июль 1972 г.

ПОЯСНЕНИЯ К СЕМЕЙНОМУ АЛЬБОМУ

Альбомы эти довольно пухлы и разнообразны. Одни бархатные, другие клеенчатые или картонные, просто тетради или конверты, большие и малые. В них семейные фотографии. Облик четырех поколений. Люди одного века – и столь разных эпох. Первые фотографии – конца восьмидесятых годов девятнадцатого века, последние – в канун семьдесят пятого года двадцатого, без малого сто лет.

Тут и семейные, и традиционные: школьные, студенческие, институтские, и служебные, и дружеские, и супружеские, и в пеленках, и на свадьбах, и на похоронах.

В них и история, и география. Смена вех и смена костюмов. Смена судеб и даже национальностей. Все они замкнуты в кругу семьи и вместе с тем раскрыты ветрам времени. Следы времени и на бумаге, на которой они отпечатаны, и на паспорту, на котором они проступают, и в выражении лиц, и в позах, в одеждах, в атрибутах обстановки – неперенменные фоны и задники...

Перед нами не только история семьи, но история фотографии.

В разные годы возвращаешься к разбухающему семейному альбому. Перед тобой возникают родные лица, те, кого

давно уже нет, и те, кому еще предстоит долгая жизнь, кто без тебя уже будет рассматривать и перебирать эти фотографии, всматриваться в портреты, искать черты сходства и вспоминать годы, застывшие на мгновение перед объективом, в неповторимом взгляде, в манере, в счастливом неведении будущего.

Каждый раз тебя поражает: старые фотографии, снятые допотопными зеркалками, отпечатанные на твердом картоне, где обозначены фамилия фотографа и город – все эти Аронсы и Эрдманы из Царицына, Фельзер из Казани, Коноваловы из Перми, – все эти провинциальные фотографы в большинстве своем были истинными мастерами!

Фотографии на твердом картоне с позолоченным факсимиле. Каждая из них несет на себе печать индивидуальности фотографа – снятая в стеклянном павильоне, на тяжелых, под красное дерево, зеркалках, она еще стремится сохранить связь с портретом, она еще не стала на конвейер пленки, она – еще экземпляр.

Смотришь на две фотографии, которые отделяют полсотни лет, и видишь, что вместе с матовыми пластинками и паспарту ушло что-то неповторимое, присущее лишь старым фотографиям, ушло вместе с ровным светом и спокойствием лиц...

Когда смотришь на эти выцветшие фотографии, чудом уцелевшие, претерпевшие массу превратностей, то о людях, сохранившихся лишь на отпечатках да в памяти сердца, хо-

чется хоть немного рассказать, чтобы перед глазами детей, а затем и внуков эти фотографии наполнились жизнью и обрели свое место в памяти тех, кто несет в себе частицу их крови, их привычек, их ума, души и совести.

* * *

Отец мой родился в многодетной семье. Трое сыновей и четыре дочери было у купца второй гильдии Осипа Маневича. Сам он был из местечка Костюковичи, а дед его жил в местечке Маневичи и, видимо, принадлежал к тем еврейским семьям, фамилии которым давались по месту жительства. В годы Первой мировой войны, когда отец проезжал мимо станции Маневичи со своим военно-полевым передвижным госпиталем, над ним шутили, что сейчас его встретит староста с ключами от родового поместья.

Мой дед Осип Маневич был купцом смоленской гильдии – видимо, потому, что это было ближе к родным местам, – но дети почти все уже родились в городе Царицыне на Волге, очень далеко от родного белорусского местечка.

Дед, портрет которого долгие годы висел у нас в столовой, умер рано, сорока двух лет, оставив восьмерых детей. Судя по портрету, это был красивый смуглый человек с черной бородой, энергичным, даже суровым лицом, но с очень грустными, излучающими тоску глазами. Служил он у какого-то крупного рыбопромышленника, затем в фирме Нобеля, ви-

димо, и сам где-то был компаньоном. Умер же дед в Москве, в гостинице «Метрополь», приехав на несколько дней по делам службы и заболев здесь воспалением легких. Я с отцом ходил на Драгомиловское кладбище, где он был похоронен. Могильный памятник да портрет – вот все, что сохранилось в моей памяти от деда.

Бабушку я помню плохо, так как она жила не с нами, а с папиным братом. Умерла она в начале двадцатых. Это была властная женщина, хорошая хозяйка не только в доме, но и во всех семейных делах. Оставшись одна с восемью детьми, она всех вывела в люди, а четверо из них, в условиях процентной нормы, получили даже высшее образование. Ко мне бабушка относилась, кажется, холодно: отчасти из-за моего баловства, а отчасти из-за того, что недолюбливала мою маму – бедную сироту, на которой отец женился без родительского благословения.

Два старших сына Осипа Маневича, Мендель и Абрам, ушли из гимназии: один из шестого, другой из четвертого класса. Надо было работать, продолжать дело отца по торговой части. Дядя Мендель уехал в Пермь, работал у Демидовых и женился там на красивой и богатой еврейской девушке, а дядя Абрам остался в Царицыне и женился по сговору, увидев невесту лишь за два месяца до свадьбы, на дочке купца Айзенштадта из Борисова – Рахили Семеновне.

Дом дяди Абрама стал моим вторым домом. Я помню его уже купцом-рыбопромышленником, имевшим собственную

контору на пристани, приказчика Мельникова, бухгалтера Богачка, несколько барж и буксирный пароходик, который назывался «Сынок» – поскольку у дяди Абрама были одни дочери.

Жили они в большой семикомнатной квартире на Александровской улице. Дядя Абрам продолжал дело деда, и, вероятно, успешно. Был он средней руки коммерсантом, но отличался большой честностью и несказанной добротой. Несмотря на четырехклассное образование, хорошо знал математику, блестяще в уме решал задачи, а также имел страсть к газетам: читал их от первой страницы до последней, любил поговорить о политике.

В семейном альбоме несколько фотографий моего папы, запечатлевших его облик в разные годы жизни. Вот он в мундире гимназиста, вот – в студенческой тужурке, в сюртуке, в форме военного врача царской армии, в английском френче времен Гражданской войны, в толстовке 20-х годов, и в белом халате – в кабинете главного врача, из которого он вышел за несколько часов до смерти. Замечательные свойства истинного врача были неотъемлемой частью его характера. Человек и профессия в нем переплетались, дополняя друг друга. Врачебный халат украшал его, подчеркивая смугло-розовую кожу, темные глаза, стройную фигуру. Этот скромный белый халат выглядел на нем как тога. Его руки – руки музыканта, тонкие, сухие, – его абсолютный слух как будто приспособлены были к тому, чтобы прослушать и

ощутить все то, что скрывала грудная клетка, что заключено в сердце и черепе больного. Мягкая улыбка, стремление немедленно помочь и вместе с тем призвать к самообладанию – таким доктора Маневича пациенты знали даже в последние его годы, когда он продолжал работать, несмотря на близкую кончину.

Я не могу зримо, как на фотографиях, передать облик тех, кто стоял у его гроба. Когда последние комья земли были брошены в могилу, ко мне и брату Левочке подошел человек в замазанной спецовке (кто он был?):

– Много хорошего сказали о нашем докторе. Но не все, не все...

Он пожал нам руки. Я тоже не могу сказать все. Труднее всего писать о близком, о родном тебе человеке.

Папа не был ученым медиком, погруженным в книги, в истории болезней. Он не оставил научных трудов. Он был практическим врачом и диагностом. Память о нем жила в сердцах тех, кому он помог, а их были тысячи и тысячи – в госпиталях двух войн, в холерных и тифозных бараках, в течение десятков лет на курортах Крыма и Кавказа, куда стекались со всей России на костылях и носилках. Он был невропатологом.

В молодые годы, во времена своей высылки, отец врачевал в Берлине. Затем, во время войны, работал как врач-универсал и только позже, познав всесторонне организм человека, стал специализироваться как невропатолог. И такие великие

врачи, как академик Бурденко, Джененадзе, терапевты Философов, Александров, Разумовский, на ответственные симпозиумы в Пятигорске вызывали невропатолога доктора Маневича. И когда в пятигорской врачебной семье кто-то заболел, вызывали тоже доктора Маневича. Его интуиция, подкрепленная опытом, способствовала проникновению в суть болезни. С военных лет он был главным врачом госпиталей, «начэваком» – начальником эвакогоспиталей Пятигорска, крупным организатором курорта и врачебного дела, а самое главное, пожалуй, в том, что с ним всегда хотели работать и работали замечательные люди – как и он сам, не жалея сил. И доктора, и сестры, и санитарки всегда шли к нему за советами и с просьбами о помощи: кому мог – всегда помогал.

Дом наш в Пятигорске был скромным, поскольку даже мебель в основном была казенная, своей не было, пока не прибыла из Ленинграда вместе с мебелью мамина сестра Люба. Однако в нашем скромном доме всегда бывали люди, в частности многие известные врачи-профессора из Москвы и Ленинграда, которые консультировали на Кавказских Минеральных Водах. Это была старая гвардия врачей, знаменитых в 20-е и 30-е годы. Они приносили в дом глубокое понимание врачебной этики, освящали его лучшими традициями медицины. Это личное общение, а также общение у постели больного в процессе консультаций было, на мой взгляд, высшей Академией Врача.

Прирожденный оратор, отец был замечательным лектором, читал курс нервных болезней. Но в первую очередь он все равно оставался просто «лекарем», как было сказано в его дипломе. Клятва Гиппократа не провозглашалась им, а была каждодневной нормой, как для многих русских интеллигентов.

Кратенький некролог да бесконечные лица людей за гробом отца, который несли на руках к подножию Машука на старое пятигорское кладбище, где похоронен был еще Лермонтов, – этим я мысленно завершаю свой о нем рассказ.

* * *

Благовещенский – тетя Феня.

Это один из немногих московских переулков, сохранивших свое прежнее название. В нем началась моя московская жизнь, прошла моя молодость.

Его название, как и многих других переулков, от стоявшей на углу церкви. Сейчас на том месте дом Большого театра, украшенный мемориальными досками. Тогда же была церквушечка, а на углу стоянка извозчиков.

Название этого переулка я воспринимаю как символическое: оно действительно стало для меня *благовестием*: в будущем, пройдя сквозь столько возможностей погибнуть, я все-таки выжил.

Наш дом № 3 ныне стоит на том же месте, не снесен, по-

ка не перестроен, лишь превратился в учреждение. Первый раз я посетил его в 1915 году, семи лет от роду. Здесь жила моя тетья, сестра отца, известный московский педиатр Фаина Осиповна Маневич. Заехали мы к ней по пути из Рогачева, где стоял военно-полевой передвижной госпиталь, в котором служил папа. В Рогачеве мы были недолго, приехали попрощаться. Госпиталь отправляли в Галицию на фронт, под Перемышль. Рогачев я совсем не помню. Почему-то вспоминаю, как впервые ел винегрет на прованском масле и сидел за столом среди взрослых военных врачей и офицеров. Смотрел на их погоны, позолоченные пуговицы с орлами на кителях, Владимирские, Аннинские и Георгиевские кресты.

О Рогачеве напоминает фотография в нашем семейном альбоме, где папа в военной форме и походном снаряжении. И мы, все трое, на этой карточке очень красивые – папа, мама и я.

Когда в 1915 году мы вошли в подъезд дома в Благовещенском, меня поразили лифт и красная бархатная дорожка с медными перекладинами. Лифт я видел первый раз в жизни.

Ефрем и Максим с галунами поднимали и опускали меня безо всякой надобности. В лифте было зеркало, красивый коврик, вечером горело электричество. Подъезд в алых бархатных дорожках, медленно ползущий освещенный лифт – все это казалось мне волшебным видением. Обстановку квартиры Фаины Осиповны того времени я помню плохо,

отчетливо помню ее лишь тогда, когда она стала коммунальной.

Но вот подъезд, вплоть до лиц Ефрема и Максима, помню очень ярко.

А затем – «Мюр и Мерилиз». Мы ехали туда на извозчике по Тверской, по торцовой мостовой, через Страстную площадь, мимо памятника Скобелеву. И когда мы вошли в магазин, передо мной предстала галерея, наполненная таким количеством вещей, что не верилось, что все это всамделишное. Здесь тоже были лифт и дорожка на полу. Царицынские магазины – Реникова, Титкина, Пирогова, куда я заходил с мамой, – были привлекательными, но в сравнении с этим известным универмагом, безусловно, меркли.

По моей решительной просьбе мы пошли в магазин игрушек, где были выбраны кирасирская каска с двуглавым серебряным орлом, колет и серебряная сабля. Надеть приобретенное в магазине мне не разрешили, и я с нетерпением ждал момента возвращения домой, чтобы в форме кирасира показаться Максиму и Ефрему и поехать на лифте.

В дом № 3 по Благовещенскому переулку я вступил вновь осенью 1926 года. Не было уже ни Ефрема, ни Максима, ни бархатных дорожек. Лифт не работал. Московская фабрика по изготовлению лифтов производила тогда вывески «Лифт не работает» – такая вывеска висела и на нашем лифте.

Тетя Феня жила в двух комнатах. Ее квартира стала коммунальной и была населена различными жильцами со столь

трагическими биографиями, что рассказ о них мог бы стать канвой для эпической драмы 1920-х годов.

Первые три курса университета я прожил в этих комнатах. Здесь бывали мои университетские товарищи, друзья прежних, севастопольских и пятигорских, лет. Летом, когда тетя работала на курортах, здесь устраивались вечеринки: читали стихи, прозу, слушали музыку, играли в преферанс, и весь вечер, не умолкая, звонил телефон: уславливались о местах встреч при возмущении соседей.

В этой квартире завязались те связи, которые прошли через всю мою жизнь. Здесь бывали девушки, которых я любил: моя первая жена Фира, моя вторая жена Вера – мать моих детей. Благовещенский я любил и бывал в нем до последних дней жизни тети. В этих стенах я как будто встречался с миром уходящим и сюда же с собою привносил дух нового мира.

Сейчас в моем кабинете на стене висит половина портрета тети Фени, с обрезанным длинным шлейфом, и стоят два ее кресла в петровском стиле: это постоянное напоминание мне о ней. Тетя Феня, как и мой папа, была человеком не знаменитым, но очень приметным в своей сфере. Училась она в Женеве, была начитанной, хорошо знала театр. Как я уже сказал, была прекрасным детским врачом, но главное – человеком с необычайным характером, который с годами становился трудным, но всегда оставался удивительным.

В первые годы революции Фаня Осиповна одной из

немногих среди московских врачей признала советскую власть, стала «сочувствующей» (была такая социальная категория, что-то вроде «попутчиков» в литературе). Она была заместителем главного врача первого коммунистического госпиталя, сейчас – им. Бурденко. Пешком, с Благовещенского, каждый день она топала в Лефортово на службу. По окончании Гражданской войны ее направили работать в детскую Морозовскую больницу, где она стала ассистентом профессора А.А. Киселя – известного педиатра. В этой больнице очень долго, до самой Отечественной войны, она работала заведующей детским отделением. Фаня Осиповна также преподавала детские болезни, и все известные педиатры того времени – Сперанский, Кисель, Краснобаев – очень ее ценили и уважали.

Частная практика тогда преследовалась, но все же существовала. Фаня Осиповна тоже имела свой круг пациентов, которых наблюдала в течение многих лет, пациенты ее становились сначала школьниками, а потом и студентами. Среди тех, кого я помню, была дочка А.И. Рыкова, председателя Совнаркома. Зная, что тетя моя была театралкой, жена Рыкова передавала ей свои билеты во МХАТ, Малый, Большой театры: так, на местах Рыковых во втором ряду я смотрел многие спектакли, в том числе и премьеру «Дней Турбиных» в 1926 году.

Следует отметить, что тетя бесплатно лечила множество детей, живших в Благовещенском переулке: среди них были

дети врачей, грузчиков, официантов, монтеров – без различия социальных категорий.

Постоянными гостями тети была семья Стасовых: тетьа, вместе с Максимом Горьким, была даже свидетельницей на свадьбе Софьи Васильевны Стасовой и Камо. Елена Дмитриевна Стасова, сестра Софьи Васильевны, была крупным партийным деятелем, само ее имя звучало в ту пору очень значительно. А жила Стасова очень скромно, вместе с матерью, в 4-м Доме Советов в двух комнатах.

Из постоянных тетиних гостей мне вспоминаются также В.Ф. Засе, известный московский врач, лечивший горло Шаляпина, Неждановой и других великих русских певцов, М.Ю. Белостоцкий, известный уролог, профессор Дилон – рентгенолог, М.И. Пейлет, врач-физиолог. Все это были настоящие московские интеллигенты: они интересовались всем новым, во всех областях жизни, даже если многое из этого нового не могли принять.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Детство мое прошло на Волге. На Волге я родился в городе Казани, в номерах Щетинкина. Почти до одиннадцати лет жил в Царицыне на Волге, первые мои поездки были тоже по Волге: меня везли из Казани в Царицын, а летом я плыл в Винновку и Дубровку. За Волгу, на дачу, я ездил с царицынскими ребятами, купался и загорал на песчаной косе. В Волге я купал лошадей из этапного пункта, расположенного возле нашего двора на Екатерининской улице, и через весь город, верхом, без седла, на пегом мерине Августе вел их обратно, сопровождая пленного австрийца, конюха, тоже Августа.

Я хорошо помню волжские пароходы обществ «Самолет», «Кавказ», «Меркурий» и «Русь». Я знал почти каждый пароход. На одном из «самолетских» розовых пароходов я провожал папу на войну. Он, в новенькой форме с серебряными погонами, уезжал в Казань, где формировался его полевой госпиталь, и вскоре уже с мамой, не помню, на каком пароходе, я тоже ехал в Казань, чтобы проводить его на фронт. Все плакали, а я рассматривал разные формы солдат и офицеров и просил папу привезти мне каску и штык.

Когда я поступил в Алексеевскую гимназию, окна здания, в котором она помещалась, тоже выходили на Волгу. И я на уроках смотрел на длинные ленты плотов, тяжелые буксиры

и быстроходные «самолетские» пароходы, которые причаливали внизу к пристаням.

Я и сейчас люблю подолгу смотреть на пароходы и самоходные баржи из моего окна, выходящего на Москву-реку, читать их названия, с трудом издали различая буквы. Какая-то и радость, и грусть в этих спокойно уплывающих и наплывающих на тебя названиях далеких городов, и радость почти детская, такая же, как в те далекие годы, когда, глядя из окна гимназии, угадывал, какой пароход спешит к волжским пристаням.

На переменках мы неслись к волжскому откосу, навстречу ребятам из городского училища. Мы дрались поясами с медными бляхами: у них на бляхах блестели буквы «ГУ», а у нас – «ЦАГ». Они лезли на нас из-под кручи, а мы их гнали вниз к пристаням с криками: «Гуся украли... Гуся украли!» Они окружали нас, и начиналась рукопашная...

Казань я помню как обрывки сна. Какие-то углы комнат, кусок гостиной в квартире Хороша – нашего дальнего богатого родственника, у которого мы останавливались. Помню золоченую мебель, белую спальню, часть которой до сих пор стоит в нашей квартире. Там были две большие детские комнаты, много игрушек. Еще был двор с каретником, рядом с которым я все время крутился. А однажды, высунувшись из окна, до того засмотрелся, как кучер Галей выезжал на паре серых в яблоках, что чуть не вылетел. На этом же фаэтоне мы с мамой ездили по Казани. Помню здание университета,

которое мне показала мама: здесь учился мой отец. Остатки крепости, комендантом которой в ту пору был сын Шамиля. Остальное, что я знаю про Казань, – это, видимо, то, что я представлял себе, слушая рассказы родителей и их друзей, когда они вспоминали свои студенческие годы в Казани. Рассказы эти были связаны с их молодостью, женитьбами, студенческим движением, революцией 1905 года и деятельностью Казанского комитета РСДРП, членом которого в те годы был мой папа, а также с арестом и ссылкой отца.

Разные люди бывали у нас в доме в Севастополе и Пятигорске, и все они вспоминали о папе много хорошего, а о маме – какая красивая и гордая она была. Вот, например, известный кинорежиссер Александр Викторович Ивановский, учившийся одновременно с папой, но на другом факультете, вспоминал, каким прекрасным вальсером был папа, как он танцевал на университетских вечерах, а мама хоть и не танцевала, но была настолько привлекательной, что около нее всегда простаивали поклонники-студенты, в том числе сам Ивановский.

Старейший большевик В. Адоратский, редактор сочинений Ленина, вспоминал, как папа председательствовал на студенческих сходках, а профессор-историк Венедиктов рассказывал о днях разгрома Казанского комитета, и об аресте папы, и как он принес маме спрятать папин револьвер. Мама же рассказывала, как она ездила хлопотать в Петербург, а потом – к папе, в далекую деревню Колпашево, место

его ссылки, и позже – в Берлин, куда папа был выслан. При чем рассказы ее были проникнуты юмором.

Историк Лившиц, который писал историю Казанской партийной организации, в 1922 году брал интервью у папы, читал ему выдержки о нем самом из досье жандармского управления, а в его статье в журнале «Пролетарская революция» за 1923–1924 годы рассказано об участии папы в дореволюционном движении. Также есть сведения о студенте-медике Маневиче как члене бюро Союза студентов РСДРП в книге профессора Корбуа об истории Казанского университета.

Мне выпала доля жить в городах-избранниках: тех городах, названия которых не только география, но и история, их не минуют никакие бури, никакие напасти, у их стен решается судьба страны. Появился я на свет в Казани, детство и юность провел в Царицыне – ставшем Сталинградом, а затем Волгоградом – и в Севастополе, все последующие годы жил в Москве. И еще один славный город сопровождал меня всю жизнь – это Пятигорск, славный и своими целительными водами, и печалью о Лермонтове.

Не мне писать историю этих городов: она подробно изложена другими. Мне довелось быть лишь малой песчинкой в этих городах, а они вошли в мою жизнь значительно.

Вот я в 1953 году стою на том месте, где был Гоголевский сквер, в уездном городе Царицыне на Волге. Теперь сквера нет. Он стерт с лица земли. Но он живет во мне со всеми своими хилыми кустиками, скамейками, песочными кучка-

ми. На скамейках сидят люди тех дней. Я вижу себя. Здесь у нас место сбора. Здесь я каждый день играл в солдаты, маршировал, сдавал караулы, стоял на часах и даже нес знамя. Нами командовал мальчишка лет тринадцати, но у него на груди была медаль: сбежал на фронт, увлеченный героическим подвигом донского казака Кузьмы Крючкова, и отличился на передовой. Правда, вскоре его отправили назад домой, недолго он успел повоевать. Муштровал он нас лихо, и мы перед ним заискивали. У нас были деревянные винтовки и сабли, а у командира – настоящая шашка.

Радостный день: к нам в гости приходит бывший папин денщик Наум. Он попал в царицынский госпиталь и разыскал нас. Я не отставал от него ни на минуту – по сей день помню его рябое доброе лицо и запах его солдатской сырой шинели, которую он снимал в коридоре, а затем перепоясывался ремнем. Он с благодарностью принимал наши скромные подарки: рукавицы, кисет, набитый табаком, пряники. Денщики отца были моими лучшими друзьями. Я с гордостью вел отца в Гоголевский сквер, где маршировал наш мальчишеский взвод. Мое появление с Наумом высоко подняло меня в глазах командира: его медаль блекла перед солдатским «Георгием» Наума и ефрейторской нашивкой. Я и сам мечтал стать денщиком – только, конечно, на передовой и чтоб моим начальником был георгиевский кавалер...

1943 год. Иду среди развалин. Два-три дома еще зияют разбитыми окнами, исторический универмаг – штаб Паулю-

са. Я иду к Волге, поднимаю голову: небо, небо моего детства. Так же бежали облака в сентябре. Я впервые шел в гимназической фуражке к Волге, шел медленно и важно.

А вот я выхожу из двухэтажного дома с круглым балконом наверху. Балкон – на две улицы: на Екатерининскую и Анастасьевскую. Это дом Ермолиных, мы снимаем здесь квартиру на втором этаже. Внизу – аптека Бессонова. На дверях дома медная вывеска: «Присяжный поверенный Ермолин», а чуть ниже – две белые, с черными буквами: «Доктор М.О. Маневич, внутренние и нервные болезни» и «Зубной врач Р.С. Маневич-Перлина».

Мирный Царицын 1922 года, чем-то напоминающий до-революционный: те же улицы, тихий Гоголевский сквер, Волга, просторы за Волгой, пикники, старые знакомые. Я выхожу на угол, который отмечен городовым. Фамилия его Ромашев. Потом я видел его, конечно, только в кинокартинах, но он и вправду казался мне таким же монументальным, как в фильме «Мать». Мне особенно приятно было отдавать ему честь. Иногда он, глядя на то, как я вытягиваюсь и вздымаю грудь, прикладывал руку к фуражке и снисходительно козырял мне.

Произведенный в унтер-офицеры мамой, нашившей на мои алые погоны на гимнастерке две лычки, я пользовался всякой возможностью, чтобы становиться «во фронт» и отдавать честь. Но офицеры встречались у нас редко, а околоточный надзиратель Грачев не обращал на меня никакого

внимания. Все же я не унывал и усердно прикладывал руку к козырьку, завидев чиновника или даже батюшку. Один раз мне повезло: проезжающий мимо архиерей, увидев меня, замершего с рукой у козырька, удостоил своим вниманием, бегло перекрестив с высоты фаэтона.

Вот я бодро расхаживаю по палубе «самолетского» парохода «Крылов», на котором еду со своей теткой-курсисткой на дачу в Винновку. Молодой штабс-капитан умильно поглядывает на мою тетю, а я ему лихо козыряю. То ли надоел я ему своими бесконечными козыряниями, то ли у него были другие побудительные причины, но наконец, к моей великой радости, он удостоил меня своим вниманием и приложил руку к козырьку. Кровь прилила мне к лицу. Я поедал глазами «начальство», готовый на любой подвиг. Но на лице офицера я не увидел ответного восторга, он строго спросил меня, в каком полку я служу и кто произвел меня в унтер-офицеры. Мне казался столь естественным мой чин, что я ожидал любого вопроса, кроме этого. Штабс-капитан смотрел на меня испытующе. В ту минуту я пережил всю горечь шаткого положения самозванца. «Кто присвоил чин унтер-офицера?» – еще строже спросил штабс-капитан. Я посмотрел на тетю, увидел ее серьезное лицо и тогда окончательно понял весь ужас своего положения. Мне мерещилось, что я стою на полковом плацу, под ружьем, и, не выдержав наказания, умираю один, всеми покинутый. На глазах моих проступили слезы, рука, которая еще дрожала у козырька, беспомощно опусти-

лась, и, всхлипывая, я прошептал: «Мама»... Тетя наклонилась ко мне. А штабс-капитан, увидев мои слезы, видимо, понял всю тяжесть моих переживаний, вытянулся, щелкнул шпорами и торжественно сказал: «Отвечай всем, что произвел тебя в унтер-офицеры штабс-капитан Тибилев-Кадрев». Затем повернулся к тете и, открыто улыбнувшись, представился: «Александр Хетагурович». В эту минуту я понял, что я – не самозванец, а младший унтер-офицер русской армии!

Революционный Царицын. Республика. Нет Гоголевского сквера, не стал я денщиком. Прыгаю с одной кровати на другую, кричу: «Рис-публика!» Опять: «Рис» и «публика!» Няня, что это такое?» Но наша добрая няня, которая ходит залевой, не знает сама. Ей жаль царя, а еще пуще – наследника Алексея, он ведь болезненный. Кто-то меня вразумил, что это не риспублика, а республика. Свобода, Равенство, Братство, Марсельеза... Первый митинг. Я – среди толпы. Само слово «митинг» – это что-то зовущее, мятежное. Митинг – что-то тесное, жаркое, кровь стучит в голове и сердце, на груди – алый бант, кругом – знамена. И слова, услышанные впервые в жизни: социалисты-революционеры, они же – левые эсеры, правые, максималисты, анархисты. Мамин брат – максималист... Меншевики – само слово какое-то слабое, большевики – сильней... И еще неслыханные слова, смысл которых мне неясен: Учредительное собрание, Временное правительство, Советы... Балкон ревкома, выступают большевики: Минин, Ермин, Левин. Левина я знаю, я иг-

раю на скрипке его брата, купили по дешевке. Левин – это главный большевик в красном Царицыне.

Первые аэропланы «Блерио», «Ньюпор», они кружат над городом. Народ высыпал, как на ярмарку:

– Смотри!.. Ероплан! Ероплан!

И вдруг что-то ударило. Бомба! Раньше я любил шоколадные бомбы: внутри – брелочек. А теперь вот бомба разорвалась у французского завода, а потом в центре, у ревкома. Бомбы, бомбы! И со всех углов – из винтовок, из маузеров, из ручных пулеметов – по «ероплану», из всех подъездов – огонь. Но аэроплан плывет, бросает бомбы, все пули летят мимо. И вдруг все-таки падает! Белый сбит! Стремительный бег, чтобы успеть рассмотреть, задыхаюсь, бегу, бегу...

А потом – вступление в город белых, звон колоколов, казачки, погром... Мы прячем сестер. В наш подъезд стучат! Но выходит присяжный поверенный Квашнин и прогоняет казаков. Опять звон колоколов, на паперти – Врангель в черной черкеске. Помню серебряный и золотой блеск его погон. В это же время, помнится мне, отец заболел сыпным тифом, он бредил. Ели мы откуда-то взявшуюся верблюжатину. Потом помню арест отца, пять дней его продержали в здании ЧК в бывшем доме Голдобина, над Волгой, но выпустили по личному приказу Ворошилова.

За 1917 год в Царицыне сменились шесть политических режимов, в 1918 году город выдержал шесть осад.

Вот уже мои воспоминания о Царицыне той эпохи, когда я

не жил здесь, но наезжал: первая пятилетка, вся страна строит Сталинградский тракторный завод. На заводе работают и моя тетья, и двоюродные сестры, а муж одной из них – Вячеслав Станкевич – главный конструктор и один из создателей тракторного завода.

Вот в Сталинграде снимается фильм «Оборона Царицына» по сценарию Алексея Толстого. Снимают его братья Васильевы, я – редактор этого фильма и уже по случаю съемок приезжаю в родные места, возвращаюсь в свое прошлое. Снимаем мы вроде бы тот красный Царицын, который мне памятен, но в сценарии я его не узнаю: нет там ни Минина, ни Ермина, ни Левина, в центре – образы Сталина и Ворошилова. Съемочная группа фильма часто бывает в гостях у моих теток.

Здесь же, в Сталинграде, я нахожусь в начале войны. Прошу директора картины взять с собой в Казахстан, куда уезжает съемочная группа, моих теток. Они уезжают, съемки фильма заканчиваются там, в Казахстане.

А вот уже съемки «Сталинградской битвы»: в городе еще полно развалин, а я разыскиваю свой дом на углу Екатерининской и Анастасьевской. Дома нет, есть лишь стена первого этажа, а на ней поперек висит наш балкон. Двора тоже нет, но уцелел лабаз, где мы отсиживались во время артобстрелов и бомбежек в восемнадцатом: его не разрушили и немецкие «фердинанды», крепко сложен был амбар купцов Ермолиных. Заглядываю: здесь кто-то живет, горит керосин-

ка, что-то варят. Иду по Екатерининской к дому теток Саши и Сони, на углу Базарной площади и Большевистской. Кругом – кирпич: битый, толченый, баррикады из кирпича, на одной из них висит что-то странное, железное. Подхожу ближе: теткино зубоорачебное кресло, целехонько, лишь обивка прошита пулями да бормашины не хватает.

Я учился в шести школах различных социальных укладов, самых разнообразных методов преподавания и, можно сказать, в разных эпохах: в гимназии цесаревича Алексея, в женской гимназии Стеценко, преобразованной в трудовую школу, в севастопольской гимназии (при Врангеле), в севастопольской школе первой и второй ступени им. Луначарского, в школе № 1 им. Зиновьева в Пятигорске и в школе им. Ленина в Кисловодске. Учился я не подряд, а с большими интервалами, перепрыгивая через классы, и только в Кисловодске в девятом классе иногда делал уроки и как-то вошел в ритм нормальной учебы, после чего получил справку об окончании школы, где преобладали вполне удовлетворительные оценки – «ву». Лишь один год я носил форму гимназиста, имел ранец, башлык, фуражку с кокардой «ЦАГ», очень ею гордился и в первые дни неоднократно прогуливался под окнами родственников и знакомых, привлекая к себе внимание. В остальное время я носил то военную форму, то солдатскую гимнастерку с алыми погонами и лычкой ефрейтора, то перешитую папину гимнастерку цвета хаки и френч из английского обмундирования. Всю свою юность я ходил в

обмотках, сапогах и крагах, брюках галифе и в первые годы студенчества тоже не расставался с кожаной курткой и сапогами.

В детстве я постоянно возился с оружием: штыками, тесаками, которые привозил отец, с его офицерской саблей, патронами и гранатами, которые мы доставали и меняли, японскими и австрийскими, а в последних классах у меня был свой дамский кольт, затем – «смит-вессон», «веладог»; пистолеты я все время менял, только «веладог» в красной сафьяновой кобуре сохранялся у меня до 1928 года, и носил я его на пояске под косовороткой или толстовкой. Расстаться с ним мне пришлось после двух приказов о сдаче оружия: тетя предъявила мне ультиматум, что отказывается держать меня в своем доме, если я не сдам свой любимый «веладог». Вообще я знал досконально все системы оружия, изучал и наган, и браунинг, и кавалерийский карабин, и винчестер. Стрелял я редко, но довольно метко и, когда в начале войны должен был проходить стрельбы, стрелял очень кучно, хотя почти не тренировался.

Страсть к оружию вытеснило лишь море. Оно началось в Новороссийске и захватило меня в Севастополе, куда мы приехали вместе с папой вследствие его назначения по службе. Море вытеснило Волгу, с которой было связано все мое детство. Море тянуло меня и днем, и ночью, оно шумело в моей голове, оно не давало мне покоя. В будущем я узнал много морей: штормовое Каспийское, Балтийское с его зали-

вами, Средиземное, Эгейское, Адриатику. Море всегда звало меня вдаль, рядом с морем мне никогда не было скучно, тогда, в Севастополе, море стало для меня первым испытанием: мне казалось, что, если я поплыву, я буду самым счастливым.

Я долго не мог оторваться от земли, ноги искали и искали ее в воде, потом я нырнул, прикоснулся к мелкой гальке, почувствовал, как она царапает пальцы... И вот, наконец, поплыл. Это было в Северной бухте. Плыл я то по-собачьи, то вразмашку, брассом, потом лег на спину и продолжал плыть все дальше в море. Наконец, задыхаясь, я доплыл до буйка, прикоснулся к его скользкой поверхности и с удивлением посмотрел на преодоленное пространство. Так я стал «плавающим», причастным к морю.

Севастополь я увидел впервые с борта парохода «Тигр». Этот пароход много лет возил паломников в Палестину, к Гробу Господню, а тогда на его борту были раненые и больные солдаты Добровольческой армии, рота юнкеров, под охраной которых происходила посадка в Новороссийске, а также какие-то военные и гражданские лица по специальному распоряжению командования.

Мой отец служил в то время врачом для поручений при головном эвакуопункте, он осуществлял погрузку больных и раненых на «Тигр», который отныне был отдан в распоряжение эвакуопункта и должен был курсировать между Новороссийском и Крымом. Но курсировать не пришлось: «Тигр»

стал одним из последних судов, покинувших Новороссийск.

Была весна, но дул сильный холодный ветер. Мы погружались на пароход прямо из санитарного поезда. Помню, когда подошли к пароходу, вся пристань была усыпана людьми: казаки на лошадях заправили весь мол, тесно стояла пехота, и по узким проходам, образованным юнкерами, шла погрузка на пароходы. Солдаты были перегружены вещами: не то раздавали запасы со складов союзников, не то их разграбили, но на многих было по две-три шинели, через плечо висели тяжелые ботинки с шипами – так называемые «танки», почти все ели шоколад и штыками вскрывали банки со сгущенным молоком. Много было пьяных, так как на складах было и бренди: маленькие пузатые коричневые бутылки торчали у многих из карманов. На молу и на пароходах зачитывали приказ Деникина о том, что он покидает свой пост и назначает главнокомандующим барона Врангеля. Кое-где казаки кричали «ура», в обстановке эвакуации это казалось диким.

Многие офицеры говорили, что с этого дня многое должно измениться: Крым был неприступен, там был порядок, там было спасение, там должен был начаться новый этап войны. Вначале погрузка шла довольно организованно, раненым и больным помогали, многих несли на носилках. Некоторые солдаты несли с собой даже сбрую, седла и уздечки. Но вдруг с гор прозвучали выстрелы, показались дымки, и все стали беспорядочно рваться к судам, слышались крики, матерная ругань.

Несколько десятков казаков построились и под командой какого-то полковника в бурке поскакали к горам, вслед за ними подтянулись две пушки, батарея и офицерская рота. На пристани вдруг стали кричать, что это зеленые, а не красные. Паника на время стихла.

Зеленые, помнится, обрушивались то на белых, то на красных. Когда мы ехали в санитарном поезде до Новороссийска, на поезд вдруг веером понеслись кавалеристы, стреляя на скаку. Одна из пуль пробила окно и котелок со щами. С площадки нашего вагона строчили из ручного пулемета. А когда поезд остановился на какой-то маленькой станции, один из врачей – фамилия его была Станкевич – перепоясал английскую шинель ремнем с солдатским наганом и заявил, что уходит к зеленым. Никто ничего ему не сказал.

Теперь вот я смотрел на зеленые горы с палубы «Тигра», видел силуэты конников и думал, что, может, там и Станкевич скачет. Шел дождь. Новороссийск исчезал в его серой сетке.

Мы были размещены в каюте с штабс-капитаном Ивановым. Он был артиллерист, но почему-то числился офицером для поручений, а потом начальником команды эвакуационного пункта. Когда доктор Надворный, наш начальник эвакуационного пункта, неожиданно заболел тифом, советник Шуббе отдал приказ, что вместо него начальником назначается мой отец. Это вызвало лютую ненависть Иванова. Чем руководствовался Шуббе, сказать трудно – возможно, тем, что в мировую

войну отец все время находился на фронте, был полковым врачом, а затем старшим ординатором полевого госпиталя, имел аннинский темляк, Анну и Станислава с мечами четвертой степени. В результате папа был очень огорчен: ведь на него возлагалась ответственность за всех, кто находится на пароходе, являющемся санитарным судном. Он дни и ночи не раздевался, почти все время находился с капитаном, в особенности во время заходов в порты. Иванов свою ненависть перенес на нас и, когда отца не было в каюте, шипел: «Жи́ды». Жена его, очень красивая казачка, видимо, не любила его, и ночью я слышал, как она гнала его от себя и шептала со злостью, что он завшивел и заразит ребенка. С нами она была приветлива.

Раз на палубе я увидел, как построилось отделение юнкеров. Из каюты на носилках вынесли черноусого хорунжего, я видел его при посадке и сразу узнал. Боцман надел на него парусиновый мешок и привязал железную гирию. Раздалась команда. Юнкера взяли ружья на изготовку, мешок мелькнул в воздухе, раздался залп. Я подбежал к борту, но море уже скрыло хорунжего. Его легкая казацкая сабля с насечками потом висела у нас в каюте, а наган в мягкой черной кобуре лежал у меня на койке под подушкой. Когда ночью Иванов о чем-то жарко шептался с женой и угрожал нам и ей, мне казалось, что он действительно вот-вот бросится на маленького брата и маму с саблей. Тогда я вынимал этот наган из кобуры и засыпал, держа руку на курке.

Через пять дней пути «Тигр» наконец-то стоял на рейде у Севастополя. Над нами было голубое небо, и под ярким весенним солнцем белокаменный Севастополь возник, как берег обетованный, спокойный и прекрасный. На рейде было множество кораблей: военных, пассажирских, грузовых, развевались иноземные флаги, по бухте спешили катера, где-то на далеком корабле даже играла музыка. «Тигр» прошел мимо Графской пристани и пришвартовался где-то в южной бухте. На берег никого сначала не пускали. Только папа, капитан «Тигра» и Иванов отправились в город.

«Тигр» стоял уже больше суток, но по-прежнему никого не отпускали с парохода. Я целый день разглядывал улицы, террасы домов, трамваи, оживленную толпу людей и корабли в гавани – от миноносцев до дредноутов. Впервые я видел военные корабли, слушал морские команды и пристально всматривался, как вечером с мачт миноносцев и канонерских лодок сползали андреевские флаги.

Наконец вернулся отец и сообщил, что наш эвакуопункт расформируется, все раненые, команда и врачи поступают в распоряжение севастопольского эвакуопункта, который находится в Брестских казармах, куда мы должны переехать. Казармы эти находились на Корабелке. Вскоре мы туда и переехали.

Севастопольский эвакуопункт был самым крупным, здесь размещалось до тысячи больных и раненых. В Крыму, видимо, был переизбыток офицеров, так как начальником эвакуо-

пункта был полковник Мокеев, а у него было еще три заместителя, тоже полковники, причем у всех были кресты и ордена. Много было офицеров для поручений, штабс-капитанов, прапорщиков. Главным врачом эвакопункта был доктор Чижевский: участник Ледяного похода, он носил терновый венец с мечом. Врачи и все офицеры размещались в офицерских флигелях Брестского полка. Мы получили квартиру из двух комнат и после целого года жизни на колесах, в теплушках, были совершенно счастливы...

Среди врачей эвакопункта было всего двое евреев – папа и Ястребеницкий, красавец лет двадцати пяти, в которого влюблялись офицерские жены, а их мужья держали его «на мушке». Отношение к отцу со стороны начальства – в чем, видимо, сыграл роль Иванов – было подозрительным. Полковники к нему придирались, и только Чижевский да Шуббе, бывший начэваком в Симферополе и знавший высшее начальство, сдерживали их происки. Мы жили на Корабелке, и в городе я не бывал, почти все время проводил на батареях Малахова кургана, в каких-то пещерах и под обрывом у моря.

Морской дух Севастополя наложил отпечаток на годы моей юности: склянки отбивали время, на кораблях играли «Зарю», белый камень Севастополя, белое – все вокруг: бескозырки, форменки, кителя, белый Андреевский флаг, белые полосы на синих воротниках, белые чайки над синим морем и белый известняк домов, лестниц, террас над сини-

ми бухтами.

Я знал в лицо все флотское начальство, командиров всех кораблей – впрочем, кораблей было не так уж много, основную часть флота Врангель угнал куда-то в Варну.

Хотя мне было уже одиннадцать лет, я, можно сказать, нигде не учился и ничего не знал.

В пятнадцатом году папа, приехав с фронта, определил меня в подготовительный класс царицынской Алексеевской гимназии, куда я был принят сверх процентной нормы, так как отец находился в действующей армии и имел ордена.

Я учился в первом классе, когда началась революция. Сняли царские портреты, отменили Закон Божий. Целый день я таскался по митингам, слушал ораторов, ходил на собрания старшеклассников. Считал себя то левым эсером, то максималистом, провожал солдат на фронт, присутствовал на всех парадах, хорошо знал все правила ведения собрания и все системы оружия. Дома у меня было два штыка: русский трехгранный и немецкий тесак. Я ходил в какой-то клуб и даже пытался записаться в самооборону, но плохо, с ошибками, писал и арифметику знал только до дробей.

К моменту приезда в Севастополь я был уже не раз под пулями и бомбежками, умел стрелять, знал марки самолетов и калибры орудий, форму всех военных частей, я много видел чужого горя, стоял у края раскрытых братских могил, видел самосуды, знал красных комиссаров и белых генералов, но почти ничего не читал и ничего, кроме революцион-

ных речей и команд, не слышал. В детских мечтах я видел себя на балконе в кожаной тужурке: то бросал в массы слова, полные огня, то верхом на лихом коне мчался с маузером, деревянная коробка которого болталась через плечо на ремне. Я, видимо, был хорошеньким мальчиком, и сестры милосердия вели со мной фривольные разговоры. В общем, в течение нескольких лет я много странствовал, но мало что осмысливал и очень плохо представлял, как выглядит учебник. Два года, проведенные в гимназии, в моем представлении освобождали меня от занятий на всю жизнь. Но домашние мои понимали, что надо срочно что-то предпринимать в отношении моего образования, поэтому решено было к осени определить меня в севастопольскую гимназию. Но в какой класс? По возрасту я должен был идти в четвертый, но по знаниям я забыл даже то, чему учился в первом.

Учителями моими стали три вольноопределяющихся: Тагер, Попов и Данчик. Все трое были из Царицына, все – дети врачей и работали санитарями эвакуопункта. Жили они на корабельной стороне в маленьком белом матросском домике, вместе с ними жили еще две очень красивых сестры милосердия. Это были пассии, как тогда выражались, Тагера и Попова. Данчик же был влюблен в учительницу французского языка Тамару Витольдовну – необыкновенно изящную польку, дочку адмирала. Эти три пары шокировали все офицерское общество, и, прежде чем я начал заниматься, родители долго обсуждали, как такое общение отразится на мо-

ей нравственности. И хотя в ту пору подобные вопросы меня еще мало волновали, однако всех трех дам я отмечал как очень привлекательных. Больше других меня занимала Тамара Витольдовна – я до сих пор помню ее, и она кажется мне образцом удивительной породы женщин тех лет, грациозных и таинственных. Однако еще потому, возможно, она казалась мне столь привлекательной, что с нею были связаны надежды на мое поступление в гимназию: ей я должен был сдавать французский язык, она должна была привлечь на мою сторону других экзаменаторов. Кстати, учителя севастопольской гимназии поголовно были влюблены в нее и уж никак не предполагали о ее романе с евреем, вольноопределяющимся Данчиком.

Я приходил к ним обычно вечером. Ося Тагер – теперь известный профессор-рентгенолог – учил меня литературе и истории, Попов и Данчик – арифметике и природоведению. За два месяца мне нужно было пройти программу четырех классов, причем в четвертый класс не переводили даже с двумя орфографическими ошибками. Должно было свершиться чудо, и оно свершилось: хотя по результатам вступительных экзаменов в гимназию меня не приняли, однако свидетельство выдали. Именно оно помогло мне начать учиться сразу в пятой группе единой трудовой школы им. Луначарского, в которую была преобразована гимназия.

В те дни, когда я поступал в гимназию, Севастополь стал быстро меняться, ведь теперь это была столица правителя

Юга России. Корабельная сторона, где мы жили, изменилась мало, здесь только стало больше войск, чаще встречались теперь военные, расширился флотский экипаж. Но центральная часть города преобразилась: население удвоилось, все гостиницы были заняты, в «Кисте» расположился штаб Врангеля, повсюду размещались какие-то управления, иностранные миссии. Нахимовский проспект был заполнен движущейся яркой, нарядной толпой – впечатление было такое, что здесь происходило гулянье. По проспекту двигались главным образом военные, но все они были в различной форме: голубые фуражки дроздовцев, черные фуражки и нарукавные знаки корниловцев, со скрещенными костями – знаки батальонов смерти, серые, черные, малиновые черкески, синие и белые с галунами бешметы кубанцев и терцев, малиновые лампасы и околыши донских казаков, касторовые генеральские кителя на красной подкладке, суконные солдатские гимнастерки с фиолетовыми погонами фронтовиков с Перекопа, бутылочного цвета кителя чиновников. И среди этого яркого парадного многоцветья белыми лебедями «плыли» морские офицеры, а по мостовой на конях проезжали кавалерийские офицеры с ординарцами, катили «бенцы», «рено» и «форды», в которых сидели военные и штатские и пугали лошадей звуками клаксонов, между ними двигались фаэтоны и просто линейки, крытые белыми балдахинами. Женщин было меньше, чем мужчин, и появлялись они лишь к вечеру, днем же на проспекте можно было встретить

в основном сестер милосердия, правда, не обычных, в дешевых косынках, а других – в великолепных шелковых платьях и пелеринках, с маленькими красными крестиками и вензелями институток. Еще по Нахимовскому фланировали выброшенные сюда из Москвы, Петербурга и Киева проститутки, одетые с дешевым шиком, вечно курящие папиросу и «охотящиеся» на моряков иностранных кораблей.

Рядовых на Нахимовском проспекте не было, если они и появлялись на минуту, то тут же ныряли в ближайшие переулки и проходные дворы, так как на проспекте ни на секунду нельзя было оторвать руку от козырька и постоянно надо было становиться во фронт. Блеск Нахимовского проспекта тогда не уступал былому блеску Невского. Он был лишь четвертушкой Невского по длине, но именно на этой четвертушке была спрессована вся старая Россия, весь цвет Белой гвардии.

Приближалась осень, вода стала холодная, и все реже можно было проводить целый день на пляже, а с Перекопа приходили тревожные вести. Все больше было раненых. Дух уныния, тоски вселялся в людей, которые нас окружали. Формировались офицерские роты для отправки на Перекоп, несколько офицеров для поручений, состоявших при эвакуационном пункте, ушли с ними. В Севастополе становилось все мрачнее и мрачнее. Нахимовский проспект тоже опустел, никто уже не следил за отдачей чести, только иностранные матросы да приехавшие на несколько дней с Перекопа офицеры

кутили в ресторанах и гуляли с девушками. Кое-кто из богатых людей, имевших связи за границей и деньги, уезжали в Константинополь. Уезжали спокойно, как на курорт. Я был на одних проводах: провожали доктора Ага, богатого караима, а застолье по этому поводу устраивали наши знакомые врачи, тоже караимы, Мангуби. На пристани все помогали перетаскивать большое количество чемоданов, все выглядело вроде бы как в мирные времена: обещали писать, вскоре приехать, но всем было ясно, что это только видимость, только вежливость. Все провожающие более или менее завидовали отъезжающим в спокойные края и долго смотрели на дымки пароходов, уходящих в Константинополь и Варну.

За стеной нашей квартиры, у полковника Воротынцева, который ведал хозяйственной частью, ежедневно пьянствовали. Там собирались офицеры, друзья хозяина и его сына, подпрапорщика Алексея, за которого Воротынцев хлопотал, чтобы избежать отправки его на фронт. Вначале там, как правило, шли горячие споры и разговоры, а затем плясали лезгинку, русскую и, наконец, пели: сперва хорошо, стройно «Хасбулат удалой» или «Лейся, лейся, белое вино», а затем «Боже, царя храни» и совсем разудало – «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и всех жидов побьем о мостовую»... Иногда к нам заходили и лицемерно приглашали папу или маму, те отказывались, а потом в ночной тишине ясно было слышно, как штабс-капитан Иванов или подполковник Родионов кричали, что *все эти Мойши ждут, слышишь, ждут!*

Один раз подпоручик из студентов Васильевский – тоже, как и Чижевский, участник Ледяного похода и георгиевский кавалер – страшным голосом закричал: «Нечего на Мойшу валить! Вы сами, сукины сыны, в тылу воевали! У клестиров отсиживались!» У нас было слышно, как наступила мертвая тишина. Затем хлопнула дверь, видимо, Васильевский ушел.

Пьянствовали почти каждый день. Отец старался даже вечером не приходить домой, часто дежурил за других, порою уходила и мама, тогда мы с братом оставались одни, и мне казалось, что вот-вот к нам ворвутся. Я снимал со стены австрийский кавалерийский карабин, и мы устраивали засаду в передней, чутко прислушиваясь к шагам на лестнице. Однажды мы встретили так родителей, взяв их на мушку.

Наконец, в ноябре стало ясно, что Крым оставляют, началась эвакуация. Начальник эвакуопункта Макеев вызвал отца, сказал, что ему следует направляться на какой-то пароход – кажется, «Фиолет», – и дал пропуск. При разговоре присутствовал Чижевский, и по его взгляду отец понял, что пропуск следует взять. Выйдя из кабинета, Чижевский сказал отцу: «Вас проверяли, решайте, но здесь оставаться больше не следует, переезжайте с Корабелки в город».

СТУПЕНЬ ВТОРАЯ

В трудовой советской школе имени Луначарского я поднялся на вторую ступень обучения. Это была та же гимназия, в которой я сдавал экзамены при Врангеле, но заведующим ее стал бывший инспектор, преподаватель математики П.Я. Клапатюк. Состав учителей был прежний, не преподавался только Закон Божий. А вот состав учащихся изменился: многие уплыли с белой армией за границу, многие перешли в другие школы, где неизвестно было их социальное происхождение, а на их места пришли простые ребята из городского училища, из расформированного морского корпуса, появились дети командиров и комиссаров Красной армии, – но все-таки в то время на всю школу было лишь два комсомольца и один сочувствовавший.

Старые гимназические порядки были нарушены. Твердо их придерживался теперь только гимназический сторож Никанор, который многих учителей именовал по-прежнему «ваше высокоблагородие» и поучал нас, рассказывая о днях былого величия севастопольской морской гимназии. Былое величие олицетворяли два сохранившихся вельбота, на которых выходили когда-то на соревнование севастопольские гимназисты. Еще в то время сохранились несколько ружей для строевой подготовки да карцер, в котором хранился спортивный инвентарь.

Учителя были все прежние, гимназические, один лишь Вадим Петрович Бабенчиков, бежавший сюда из Москвы – видимо, бывший меньшевик, – преподавал литературу и был подлинным марксистом. Он первым нам сообщил, что человек произошел от орангутанга, и объяснил теорию эволюции: она потрясла мое воображение. Я тщательно стал искать в себе и себе подобных черты, сближавшие меня с прародителем. Бабенчиков же не по учебнику, а с пониманием и любовью пытался приобщить нас к русской литературе. Остальные учителя не внесли никаких изменений в свои уроки.

Леонид Леонидович, старый морской волк, в залоснившемся морском мундире, когда-то водил гимназистов на вельботах и яхтах в Новую Голландию, Стрелецкую бухту. Теперь же, молча входя в класс, совал кому-нибудь в руки учебник древней истории, а сам вышагивал по классу взад и вперед между партами, как капитан на судне, с устремленным куда-то взором. Лицо его от правого глаза к подбородку пересекал глубокий рубец. Пока кто-то из нас монотонным голосом читал о законах Солона или о братьях Гракх, а другие играли в крестики, орлянку или карты, он, ни на кого не обращая внимания, все шагал и шагал. Леонид Леонидович не замечал не только того, что никто не слушает, но и того, что давно уже перестал звучать голос читавшего.

Неожиданно он вздрагивал, переводил свой взгляд на молчавшего чтеца и командовал:

– Фридовский, к доске! Повтори!

Фридовский также строго смотрел в лицо чтецу, взывая о помощи, но зловещий шепот «Гракхи!» ему мало помогал, и, кроме злополучного звука «грак-хи», он выдать из себя ничего не мог.

Леонид Леонидович шел к кафедре и, наклонившись над журналом, чертил кол. Взглянув на Фридовского, он вновь командовал: «Читать!» Это значило, что Фридовский будет читать до звонка.

О Леониде Леонидовиче ходило много легенд – о нем и о его шраме. Одни уверяли, что он получен, когда Леонид Леонидович вел моряков на abordаж, другие – что это след дуэли. Точно было известно только то, что фамилия его Смоленский, что он капитан второго ранга, историк гардемаринского училища и что от него ушла жена с казачьим есаулом.

Никанор очень его почитал и всячески расписывал прелести его жены и ее презренное вероломство: «Променяла бикса моряка на казака! Да что с них спрашивать?! А у Леонидыча золотая душа...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.